
Падлочий В. Д.
Московский попаданец
Оброк на гаджеты

**Владислав Надточий**

# Московский попаданец. Оброк на гаджеты

*https://litres.ru/74734972*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Что будет, если обычный московский студент попадёт в XVII век с электросамокатом, смартфоном и кучей гаджетов? А если местный барин решит обложить всё это оброком?

Мирон Голованов собирался всего лишь вернуть покупки в магазин. Но вместо пункта возврата оказался в Москве времён царя Алексея Михайловича!

Здесь за подозрительную монету можно угодить в приказ, за светящуюся гирлянду — прослыть колдуном, а за электросамокат придётся объясняться с самим барином.

Но Мирон не собирается пропадать! Вместе с находчивым Гришкой он превращает современные гаджеты в прибыльное предприятие. Вот только впереди Медный бунт, опасные враги, хитрые приказчики и любовь, которую невозможно вернуть по чеку.

Можно ли построить бизнес в XVII веке, когда даже слово «кешбэк» звучит как заклинание?

Искромётный юмор, невероятные приключения, хитроумные аферы и попаданец, который умудрился превратить путешествие во времени в коммерческий проект!

# Содержание

Глава 1. Кешбэк 6
Глава 2. С Новым годом 21
Глава 3. Оброк на гаджеты 36
Глава 4. Натуральное хозяйство 53
Конец ознакомительного фрагмента. 65

# Владислав Надточий
# Московский попаданец.
# Оброк на гаджеты

**Надточий В. Д.**
**МОСКОВСКИЙ ПОПАДАНЕЦ**

**ОБРОК НА ГАДЖЕТЫ**
2026

Все события и персонажи произведения вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны.

# Глава 1. Кешбэк

Я всегда считал, что деньги живут в телефоне. Не в кошельке и уж тем более не в металлических кружочках, которые звенят в карманах у пенсионеров. В телефоне. Нажимаешь кнопку — приезжает еда. Другую — машина. Третью — курьер с покупками, о которых ты успел подумать, пока чистил зубы. А потом приходит уведомление: «Вам начислен кешбэк». Вот это я любил больше всего. Ты тратишь деньги, а мир будто благодарит тебя за щедрость.

Меня зовут Мирон Эдуардович Голованов. Мне девятнадцать лет, и до утра первого сентября две тысячи двадцать шестого года я ни разу в жизни не держал в руках бумажную сторублёвку. Нет, я видел их, конечно. В кино. И у бабушек в магазине у дома, когда заходил туда за энергетиком. Бабушки доставали из кошельков сложенные вчетверо бумажки и долго их расправляли, а я стоял сзади и думал, что это такой ритуал, вроде чайной церемонии.

Первого сентября я должен был начать учиться на экономическом факультете университета «Меркурий». Это частный университет на Таганке, в здании бывшей фабрики. На стенах там висят портреты великих экономистов, а в столовой продают смузи за четыреста рублей. Поступил я потому, что папа сказал: «Сын, бизнес надо понимать». Я согласился: спорить с папой бесполезно, да и смузи там вкусные.

Папа у меня Эдуард Борисович Голованов, владелец сети автомоек «Блеск». Тридцать две мойки по Москве и области, на каждой огромный плакат с улыбающейся машиной. Машина улыбается фарами, это была папина идея, и он ею гордится больше, чем мной. В девяностые он продавал вёдра на Варшавском рынке. Не воду в вёдрах, не мойку, а просто вёдра, пластиковые, синие и красные. Он рассказывает об этом на каждом семейном празднике, и всегда одинаково: «Я начинал с ведра, сын. С одного ведра. А ты начинаешь с моей карты».

В этом папа был прав. Первые мои покупки оплачивались его картой.

Утро первого сентября началось как обычно. Я проснулся в своей комнате на двадцать третьем этаже дома на Котельнической набережной, заказал завтрак, полежал, пока его везли, и вышел на кухню в тот момент, когда курьер уже позвонил в домофон. Папа сидел за столом в белой рубашке и читал что-то в планшете. Рядом с ним Снежана резала яблоко на очень тонкие дольки.

Снежана — жена папы. Ей двадцать шесть лет, то есть она старше меня на семь. Когда папа на ней женился, я сказал ему, что это странно, а он сказал, что я эгоист. Снежана ведёт блог «Копилка», где учит людей экономить. У неё триста тысяч подписчиков, и все они, по-моему, смотрят её видео только для того, чтобы послушать, как она говорит слово «бюджет». Она его говорит так, будто это название дорогого

курорта.

— Доброе утро, — сказал я.

— Доброе, — сказал папа, не поднимая головы. — Что заказал?

— Сырники. С малиной. И кофе.

— Сколько?

Я посмотрел в телефон.

— Тысяча девятьсот. Но там кешбэк семь процентов.

Снежана перестала резать яблоко. Папа отложил планшет. Они переглянулись, и я сразу понял, что это был не случайный вопрос. Это был заранее отрепетированный разговор, а я в нём был не участником, а реквизитом.

— Мирон, — сказал папа. — Сядь.

Я сел. Курьер уже поднимался в лифте, а я думал о сырниках: сейчас остынут.

— Сколько стоит буханка хлеба? — спросил папа.

— Какого хлеба?

— Обычного. Чёрного. В магазине у дома.

— Не знаю, — сказал я честно. — Я хлеб не ем. Там глютен.

Снежана тихо фыркнула и сделала вид, что это она про яблоко.

— А сколько стоит литр молока?

— Пап, ну при чём тут молоко?

— А сколько стоит проезд в метро?

— Я на такси езжу.

— А такси сколько стоит?

— Не знаю. Оно само списывается.

Папа кивнул, как врач, которому пациент признался, что питается исключительно банковскими уведомлениями.

— Вот, — сказал он Снежане. — Я же говорил. Само списывается.

Он взял свой телефон, что-то нажал, и мой телефон в кармане коротко дзынькнул. Я посмотрел. Пришло уведомление банка. «Ваша дополнительная карта заблокирована держателем основной карты».

— Это что? — спросил я.

— Это, сын, называется воспитание, — сказал папа. — Узнаешь цену хлеба — поговорим о карте.

— Пап, у меня сегодня первое сентября! Мне на пары!

— Пары бесплатные. Для тебя. Я за них уже заплатил.

— А обедать?

— Снежана положила тебе в рюкзак бутерброды.

Я повернулся к Снежане. Она улыбнулась мне самой своей блогерской улыбкой.

— С сыром и огурцом, — сказала она. — Себестоимость одного бутерброда сорок три рубля. Я посчитала.

Тут позвонил курьер. Я открыл дверь, забрал пакет и вернулся на кухню. За сырники уже заплатили — хотя бы завтрак у меня не отняли. Я открыл коробку.

Папа смотрел, как я ем. Потом полез в карман пиджака и высыпал на стол горсть монет. Монеты раскатились, одна

упала на пол, и Снежана подняла её с таким видом, будто это была жемчужина.

— Это что? — спросил я с полным ртом.

— Это деньги, — сказал папа. — Настоящие. Из пылесоса на мойке в Печатниках. Люди роняют мелочь в машинах, а пылесос её собирает. Это твои карманные на сегодня. Деньги любят счёт, Мирон. Пересчитай.

Я принялся считать. С десятирублёвыми справился быстро, с пятирублёвыми тоже. Однорублёвые пришлось пересчитать дважды. А потом осталась мелочь: жёлтые и серебристые кружочки, на которых всадник тыкал копьём в змею. Сколько они стоят, я понятия не имел.

— Это кто? — спросил я, показывая на мужика.

— Георгий Победоносец, — сказала Снежана. — Это копейки. Одна копейка и пять копеек. Их почти никто уже не берёт, но они действующие.

— А зачем мне копейки?

— Затем, — сказал папа, — что рубль состоит из ста копеек. Я начинал с малого. Считай.

Вышло сто сорок семь рублей тридцать пять копеек. Я произнёс сумму вслух. Папа посмотрел на меня с таким уважением, словно я только что защитил диссертацию по высшей математике.

— Хлеб купишь сам, — сказал он. — Вечером скажешь цену. Если угадаешь, разблокирую.

— А если не угадаю?

— Тогда завтра получишь ещё одну горсть. Из Капотни. Там клиенты щедрее — особенно когда не замечают.

Я ссыпал монеты в карман джинсов. Они оттянули ткань так, что пришлось подтянуть ремень. Сто сорок семь рублей тридцать пять копеек весили больше моего телефона, на котором ещё утром был доступен папин лимит в триста тысяч. Впервые я ощутил финансовую независимость буквально: она тянула штаны вниз.

— И ещё, — сказала Снежана, когда я уже надевал кроссовки в прихожей. — Раз ты всё равно идёшь мимо, занеси, пожалуйста, коробку в пункт выдачи. Там возврат. Я всё упаковала.

Коробка стояла на тумбочке. Большая, перемотанная скотчем, с наклеенным штрихкодом.

— Что там? — спросил я.

— Всякая мелочь, — сказала Снежана. — Гирлянда на батарейках, она моргает не в том ритме. Ночник-проектор, звёздное небо, слишком яркий. Электрическая зубная щётка, не тот цвет. Ручной вентилятор, слишком шумный. Калькулятор на солнечной батарейке, я заказывала розовый, а пришёл голубой. И упаковка батареек, они шли в подарок, их тоже надо вернуть, иначе возврат не примут.

— Ты заказала калькулятор? В двадцать шестом году?

— Для съёмок, — сказала Снежана. — Когда считаю на калькуляторе, подписчики верят, что цифры настоящие.

Я хотел съязвить, но коробка оказалась тяжёлой. При-

шлось затолкать её в туристический рюкзак, купленный когда-то для похода в горы, до которого дело так и не дошло. Коробка влезла впритык. Сверху я уложил контейнер с бутербродами, подаренный Снежаной пауэрбанк с солнечной панелью, который ни разу не включал, наушники, бальзам для губ и солнечные очки.

Ещё у меня были умные часы. Они считали шаги, пульс, сон и, кажется, даже мои мысли. В тот день шагов набралось больше, чем за весь предыдущий месяц.

Причина была проста: я шёл пешком.

От Котельнической до Таганки, если верить карте, пятнадцать минут пешком. Проверять мне прежде не доводилось. По дороге обнаружилось удивительное: на улицах есть люди. Они спешат, спорят, смеются, тащат сумки. Из такси я видел их словно за стеклом аквариума. Теперь одна женщина с тележкой наехала мне на ногу и велела разуть глаза. Пришлось смотреть внимательнее.

В университете был торжественный сбор первокурсников. Ректор говорил о том, что мы будущие лидеры экономики. Я стоял в последнем ряду и думал о том, что у будущего лидера экономики в кармане сто сорок семь рублей тридцать пять копеек и что они звенят каждый раз, когда он переминается с ноги на ногу. Рядом со мной стояла девочка с розовыми волосами, она на третий раз повернулась и посмотрела на мой карман с подозрением.

После сбора была первая пара. Экономическая история.

Её вёл профессор Лев Аронович Штейнберг, маленький, седой, в вельветовом пиджаке, с таким громким голосом, что ему не нужен был микрофон.

— Деньги, — сказал Лев Аронович, — это не бумажки. И не цифры на экране. Деньги — это доверие. Пока люди верят, что вот эта штука чего-то стоит, она чего-то стоит. Как только перестают верить, она превращается в то, чем является на самом деле. В кусок металла. В бумажку. В пиксель.

Он прошёлся вдоль доски.

— Самый наглядный пример в отечественной истории — медный кризис при царе Алексее Михайловиче. Кто знает, чем он кончился?

Тишина. Девочка с розовыми волосами подняла руку и сказала: «Бунтом?» Лев Аронович кивнул.

— Бунтом. Медным бунтом тысяча шестьсот шестьдесят второго года. Об этом у нас будет первая курсовая. Тема: «Денежная реформа середины семнадцатого века и её последствия». Сдать к октябрю.

Я улыбнулся: курсовая у меня уже была. Список тем прислали ещё в августе, и я заказал работу у Даниила, торговавшего рефератами «под ключ» с обещанной уникальностью в девяносто два процента. Двенадцать тысяч рублей, зато с кешбэком. Файл лежал в телефоне неоткрытым. Я ведь заплатил — зачем заранее расстраиваться?

Лев Аронович, кажется, заметил мою улыбку. Он посмотрел на меня поверх очков, и мне на секунду стало неуютно.

— Молодой человек в последнем ряду, — сказал он. — Как вас зовут?

— Голованов. Мирон.

— Скажите, Голованов, что такое инфляция?

— Это когда всё дорожает, — сказал я.

— А почему всё дорожает?

Я задумался. Ответа в телефоне не было.

— Потому что жадные, — сказал я.

Аудитория засмеялась. Лев Аронович тоже улыбнулся, но как-то грустно.

— Почти, — сказал он. — Только жадные обычно не те, на кого вы думаете. Садитесь, Голованов. Жду вашу курсовую с особым интересом.

На большом перерыве я отправился в столовую и по привычке пристроился в очередь за смузи. Когда дошёл до кассы, заказал большой «манго-маракуйя» и высыпал на стойку горсть монет. Девушка посмотрела на них так, будто я предложил расплатиться дождевыми червями.

— На этой кассе наличные не принимают, — сказала она. — Только карта или телефон. С монетами — в соседний корпус, к обычной кассе.

— Но это же деньги, — возразил я. — Настоящие.

— Тогда с ними в соседний корпус, — ответила девушка и повернулась к следующему покупателю.

Я отошёл от стойки, сжимая монеты, с неприятным ощущением, что меня исключили из числа покупателей. Девуш-

ка с розовыми волосами, стоявшая следом, получила клубничный смузи и вдруг задержалась рядом.

— У тебя что, бутерброды? — спросила она, глядя на мой рюкзак. Из бокового кармана торчал Снежанин контейнер.

— С сыром и огурцом, — сказал я. — Себестоимость сорок три рубля.

— Меняю, — сказала она. — Половину смузи на бутерброд. Я с утра не ела, а тут из еды только семена чиа по цене слитка золота.

Мы устроились у окна. Я выпил половину клубничного смузи, который не любил, она съела бутерброд, которым Снежана особенно гордилась, — и оба остались довольны. На лекции я назвал бы это бартером. Но у доски легко рассуждать об обмене, когда на кону не стоит твой обед. Вскоре мне предстояло разобраться в этом гораздо лучше.

— Тебя что, родители на мели держат? — спросила девочка, облизывая пальцы.

— Воспитывают, — сказал я.

— Сочувствую, — сказала она серьёзно. — Меня так в восьмом классе воспитывали. Я тогда за месяц узнала цены на всё. Даже на гречку.

— И сколько стоит гречка?

— Не скажу, — сказала она. — Это надо выстрадать.

Она ушла на следующую пару, а я остался сидеть с пустым контейнером и подумал, что, кажется, впервые поговорил в университете с человеком не о том, у кого какой телефон.

После пар я отправился за хлебом. В первом магазине обнаружилось сорок сортов, и я растерялся: отец велел купить хлеб, но не уточнил, с семечками или с чувством собственного достоинства. Во втором магазине касса самообслуживания отказалась принимать монеты. В третьем, маленьком, у метро, продавщица в синем фартуке взяла буханку бородинского и сказала: «Пятьдесят девять». Я высыпал на прилавок мелочь. Она посмотрела на деньги, потом на меня.

— Молодой человек, вы чего, копилку разбили?

— Это папин пылесос, — сказал я.

Она не поняла, но отсчитала себе пятьдесят девять рублей, ловко, как фокусник. Копейки она мне вернула.

— Это не надо, — сказала она. — Это сейчас никому не надо. Оставь на счастье.

Из магазина я вышел с буханкой под мышкой и восемьюдесятью восемью рублями тридцатью пятью копейками в кармане. Хлеб стоил пятьдесят девять рублей. Я даже сфотографировал покупку и выложил в сторис: «Первая самостоятельная буханка».

Тут я вспомнил о Снежаниной коробке. Пункт возврата находился на Варварке, в подвальчике возле старых палат. Снежана выбрала его из-за отсутствия очередей. Навигатор предложил двадцать пять минут пешком или семь на самокате. Я выбрал семь.

Арендные самокаты стояли в Москве на каждом углу.

Раньше я брал их всякий раз, когда идти было лень, а лень случалась регулярно. Отсканировал код на руле ближайшего — и получил знакомое напоминание: «Ошибка оплаты. Ваша карта заблокирована». Отец умудрился добраться до меня даже через экран самоката.

Я открыл приложение другой компании. Там ещё хранились восемьсот бонусов за прежние поездки — мой тщательно накопленный кешбэк. Приложение немного подумало и сообщило: «Поездка оплачена бонусами. Приятной дороги!» Впервые за день электронные деньги вели себя прилично.

— Вот, — сказал я вслух неизвестно кому. — Вот для чего нужен кешбэк.

Темнело. Над Москвой собиралась гроза, первые капли уже стучали по экрану телефона. Я закинул рюкзак на плечи, сунул буханку в боковой карман, встал на самокат и поехал. До пункта возврата оставалось семь минут езды. Торопиться было незачем, но дождь убедил меня в обратном.

Самокат тихо жужжал. Я проехал по набережной и свернул к Зарядью, когда небо над Кремлём вспыхнуло белым. На миг купола стали резкими, словно их обвели мелом. Потом грохнуло так, что я втянул голову в плечи, и хлынул дождь. Казалось, наверху перевернули огромный бак — возможно, той самой марки, которую рекламировал отец.

Я пригнулся и прибавил ходу. На мокрой плитке самокат вилял. Я миновал парк, стеклянный купол и бегущих от

дождя прохожих, свернул на Варварку. Справа за ограждением темнел археологический раскоп. Днём я не раз видел там остатки старой кладки, белый камень, красный кирпич и таблички с датами. Теперь у края раскопа стоял щит: «Осторожно! Ведутся работы».

Я увидел этот указатель в свете фар, когда было уже поздно.

Колесо угодило на мокрую фанеру. Она поехала в одну сторону, самокат — в другую, а я выбрал третью. Ограждение на пластиковых ножках повалилось. Я перелетел через него вместе с рюкзаком, буханкой и оставшимися после покупки хлеба восемьюдесятью восемью рублями тридцатью пятью копейками.

Падение длилось подозрительно долго для трёхметрового раскопа. Я успел подумать, что прокат продолжает списывать минуты. Потом — что хлеб наверняка промок. И наконец, с особенной ясностью: курсовую про медные деньги я так и не прочитал.

Потом я ударился обо что-то твёрдое спиной, и стало темно.

Не знаю, сколько пролежал без сознания. Когда открыл глаза, дождь кончился. Под спиной кололась солома, рюкзак давил на лопатки. Пахло землёй, дымом и чем-то кислым, деревенским. Надо мной темнело небо с первыми звёздами. Фонарей не было. Проводов тоже. Для центра Москвы это выглядело подозрительно.

Я сел. Голова гудела. Самокат лежал рядом, его фара ещё светила. Я выключил её. На экранчике мигало: «Поездка продолжается. 00:00:41». Телефон был при мне, но сети не показывал.

— Сорок одна секунда, — сказал я. — Нормально. Восемьсот бонусов хватит.

Я огляделся. Я сидел на куче соломы у бревенчатой стены. Стена была толстая, тёмная, вся в щелях, и из одной щели торчал пучок мха. Слева, шагах в двадцати, поднималась другая стена, каменная, высокая, белая с красным, с зубцами наверху. В свете факелов у ворот она выглядела совсем не так, как знакомые мне руины за прозрачным щитом: целая, с бойницами. На зубцах чернели вороны.

Справа была улица. Если это можно было назвать улицей. Деревянные мостки, грязь, телеги, лошадь, которая мирно жевала что-то из торбы, и много людей. Очень много людей, в длинных одеждах, в шапках, в лаптях, в сапогах, с мешками, с коробами, с корзинами. У лавок горели лучины и факелы. Кто-то кричал. Кто-то пел. Кто-то звонил в колокол, и ему отвечали ещё колокола, со всех сторон, так что казалось, будто звенит само небо.

Я посмотрел на свои кроссовки. Они были белые, с салатовой подошвой, и единственные во всём этом мире выглядели так, будто их только что достали из коробки. Я посмотрел на свои джинсы. На худи с надписью «NO STRESS JUST VIBES». На часы. Часы показывали пульс сто сорок два и

тревожно вибрировали, советуя мне подышать.

Рядом со мной на соломе сидел мальчишка. Лет тринадцати, тощий, в рубахе до колен, подпоясанной верёвкой, босой и такой чумазый, что глаза у него казались особенно светлыми. Он смотрел на меня, на самокат и на буханку бородинского, которая выпала из бокового кармана и лежала на соломе, нетронутая и сухая.

Из всех чудес, свалившихся на мальчишку за этот вечер, больше всего его занимала буханка.

— Ты кто? — спросил я.

Он промолчал. И смотрел на меня так, словно я только что вывалился из летающей тарелки, прихватив с собой холодильник.

— Где я? — спросил я.

— В Зарядье, — сказал мальчишка хрипло. — Где ж ещё.

— А какой сегодня день?

Мальчишка перекрестился. Один раз, потом ещё дважды — на всякий случай.

— Новый год сегодня, — сказал он. — Семь тысяч сто семидесятый. Первое сентября. Ты чего, с колокольни упал?

Я посмотрел на самокат. Самокат мигал: «Поездка продолжается. 01:12».

— Почти, — сказал я.

# Глава 2. С Новым годом

Первым делом я полез в телефон. Обычно он знал ответы на всё, кроме вопросов преподавателя. На экране светились шестьдесят три процента заряда, 21:17 и «Нет сети». Я поднял аппарат над головой, надеясь поймать хоть одну полоску.

— Ты чего, — спросил он, — икону показываешь?

— Сеть ловлю, — сказал я.

— Сети на реке ставят, — объяснил мальчишка. — А тут торг. Тут не сети ловят, а кошели режут.

Я схватился за карман. Монеты были на месте. Гришка заметил движение и насупился.

— Не я, — сказал он. — Я сегодня не режу. Сегодня Новый год, грех.

— А в другие дни режешь?

Он пожал плечами и отвёл глаза. Глаза у него всё время возвращались к буханке.

Я поднял буханку с соломы. Бородинский за пятьдесят девять рублей. Мальчишка смотрел на него так, словно не ел со вчерашнего дня.

— Есть хочешь? — спросил я.

Он кивнул. Я отломил половину и протянул ему. Он схватил хлеб двумя руками, понюхал и замер.

— Это чего? — спросил он подозрительно. — Чёрный, а пахнет пряником.

— Бородинский. С кориандром.

— С кем?

— Это трава такая. Ешь.

Он откусил, осторожно пожевал и вдруг заулыбался. Полбуханки исчезло за минуту; ни одной крошки он не уронил. Облизав пальцы, мальчишка посмотрел на оставшийся хлеб. Взгляд был красноречивее любого попрошайничества.

— Ладно, — сказал я и протянул ему оставшуюся половину. Мне сейчас было не до хлеба, а папе рассказать о цене этой покупки я, похоже, смогу нескоро.

Вторую половину Гришка есть не стал: сунул за пазуху, под рубаху. Живот у него сразу заметно округлился.

— Меня Гришкой звать, — сказал он. — Шилом ещё кличут. А тебя?

— Мирон.

— Мирошка, значит, — сказал Гришка, примерив. — А чей ты?

— В каком смысле чей?

— Ну, чей. Чей человек. Боярский? Монастырский? Посадский? Гулящий? Немчин?

Я задумался. Ответить «папин» было бы правдой, но в Гришкином перечне такой категории не нашлось.

— Свой, — сказал я.

Гришка посмотрел на меня с жалостью.

— Своих тут не бывает, — сказал он. — Скажешь «свой» — тебя мигом кто-нибудь к себе припишет. Лучше немчи-

ном назовись. У тебя и порты чудные, и сапоги. Немчину за такое вопросов меньше.

Он ткнул пальцем в мои кроссовки. Кроссовки в этот момент как раз ступили в лужу, и салатовая подошва перестала быть салатовой.

— Ладно, — сказал я. — Немчин. А где тут… ну… полиция? Или посольство какое-нибудь?

Слова «полиция» Гришка не знал. Слово «посольство» знал, но сказал, что в Посольский приказ меня пустят разве что под караулом. Тогда я спросил главное.

— Гришка, а какой сейчас царь?

— Алексей Михайлович, — сказал Гришка таким тоном, каким у нас говорят, что вода мокрая. — Тишайший. Сегодня Новый год встречали, летопроводец был. Царь на Ивановскую площадь выходил, народу — тьма. Ты опоздал, немчин. Зато на торгу ещё пирогами торгуют: после праздника не всё распродали.

Алексей Михайлович. Утром профессор Штейнберг рассказывал о медных деньгах и бунте 1662 года. Теперь его лекция перестала казаться отвлечённой. До бунта оставалось меньше года, а я стоял посреди Москвы без документов, привычных денег и зарядного устройства.

Я вцепился в телефон. Открыл файлы. Курсовая была на месте: «Голованов_курсовая_ФИНАЛ_точно.docx». Сорок одна страница. Я открыл её, и телефон долго думал, а потом показал первую страницу: «Введение. Актуальность

темы исследования обусловлена тем, что…» Я пролистал. Дальше шло что-то про реформу, про медные деньги, про цифры и опять про актуальность. Я листал, листал, телефон грелся, и заряд таял на глазах. Шестьдесят один. Шестьдесят. Я закрыл файл. Читать сорок одну страницу на шестидесяти процентах, ничего не понимая, было всё равно что пить из пожарного шланга.

Я закрыл файл, отключил всё лишнее, включил режим полёта и спрятал телефон под худи. Шестьдесят три процента заряда теперь казались целым состоянием. Розеток здесь не предвиделось.

— А седьмая тысяча сто семидесятый, — спросил я, — это от чего считают?

— От сотворения мира, — сказал Гришка. — Ты что, совсем немчин?

Я попытался посчитать. В сентябре год от сотворения мира уже сменился: семь тысяч сто семидесятый соответствовал осени 1661-го и лету 1662-го. Значит, сейчас сентябрь 1661 года. И почему я не читал собственную курсовую?

— Пойдём, — сказал я Гришке. — Покажи мне торг.

Самокат я повёл рядом. Бросить его было нельзя: аренда продолжалась, счётчик на экране не останавливался. Я уже провалился на три с лишним века назад, а приложение всё ещё считало минуты. Удивительная надёжность сервиса.

Торг начинался прямо за углом. Дневная торговля уже закончилась, ставни на многих лавках были закрыты, но после

новогоднего праздника кое-где ещё горели лучины и факелы. Я много раз был на рынках, но это было что-то совершенно другое. Как будто все маркетплейсы мира вывалили свои склады на улицу, а последние продавцы задержались, чтобы сбыть остатки. Деревянные лавки стояли рядами, впритык одна к другой. Гришка тащил меня за рукав и называл ряды, как экскурсовод:

— Это Сурожский, тут шёлк. Это Шапочный. Это Сапожный. Это Иконный, сюда не лезь, тут не торгуются, тут меняют. Это Рыбный, тут нос зажми. Это Калашный. Это Пирожный…

В Пирожном ряду я остановился. Пахло свежей выпечкой. Утренние сырники с малиной остались в другой Москве, за триста шестьдесят пять лет отсюда. Румяная тётка в платке, с руками толщиной в мою ногу, сидела над лотком с горячими пирогами.

— Почём пироги? — спросил я.

Тётка посмотрела на худи, кроссовки и самокат. Потом перевела взгляд на пироги, будто прикидывала, сколько я сумею унести.

— С чем тебе, молодец? — спросила она осторожно.

— С мясом.

— С мясом — денга серебром. А медью — три денги.

Я не понял, почему за один пирог назвали две цены, но привычно потянулся за телефоном. Банковское приложение здесь, конечно, не открылось. Зато продавщица увидела чёр-

ный прямоугольник и отшатнулась.

— Ты чего, ирод, — сказала она, — ты чего мне в пироги зерцалом тычешь?

— Заплатить хотел, — объяснил я и спрятал телефон. — Не тем способом.

Гришка дёргал меня за рукав и шипел, что так здесь не платят. Я сунул телефон в карман, достал горсть монет: десятирублёвые, пятирублёвые, рублёвые и копейки с Георгием Победоносцем. Выбрал десятку и положил на лоток.

Тётка взяла монету, повертела. На одной стороне был двуглавый орёл, на другой — крупная цифра десять. Потом зачем-то попробовала её на зуб, сморщилась и бросила обратно.

— Это чего? — спросила она.

— Десять рублей.

Лучше бы я промолчал. Тётка выпрямилась, соседки повернули головы, а позади оборвался спор о цене на яйца. Мои десять рублей наделали шуму на весь ряд.

— Сколько? — переспросила тётка тихо.

— Десять, — сказал я, уже понимая, что что-то не так. — Ну, рублей.

— Десять рублей, — повторила тётка на весь ряд. — Он мне, бабоньки, за пирог дал десять рублей. Бляшку немецкую жёлтую. А на ней, гляньте, орёл.

Торговки стали подходить. Одна, сухонькая, с корзиной яиц, взяла мою десятку, понюхала и сказала: «Медь не медь,

а не серебро». Другая сказала: «Воровская». Третья сказала: «Немецкая». Четвёртая сказала, что надо звать решёточного приказчика. Гришка тянул меня за рукав уже двумя руками.

— Мирошка, бежим, — шипел он. — За такие денежки в Земский двор сведут. Там за воровские деньги знаешь что делают?

Я забрал десятку у торговки, вскочил на самокат и ухватился за руль. Гришка уже искал глазами проход между лавками.

На индикаторе самоката оставалось двадцать три процента заряда. Сколько это по здешней мостовой — три версты или три выбитых зуба, — я выяснять не стал. Нажал на газ.

Гришка бежал за мной, отставая. Я притормозил, крикнул ему: «Прыгай!» Он не понял, и я схватил его за шиворот и втащил на деку перед собой. Самокат охнул, просел, но поехал. Мы неслись по площади, и люди расступались перед нами, как вода перед моторкой.

— Куда? — орал я Гришке в ухо.

— Туда! — орал Гришка, показывая рукой на ворота в белой стене. — В Варварские! Там за стену, на Кулишки, там не сыщут!

Ворота приближались. Высокие, с башней, в проёме толпились телеги. Я рулил между ними, как в компьютерной игре, и мне вдруг стало весело. Честное слово, весело. Ветер, крики, колокола, Гришка у меня под подбородком визжит от восторга. За всю жизнь меня никто никогда не ловил. Мне

никто не кидал вслед лаптей. Такого не давала ни одна поездка на такси бизнес-класса.

Прямо в воротах стояла телега. Большая, с высокими бортами, запряжённая сивым мерином, а на телеге сидел толстый человек в красном кафтане и меховой шапке, несмотря на сентябрь, и что-то громко объяснял другому человеку, худому и седому, который стоял внизу и явно ничего не слышал.

Я нажал на тормоз, но на мокрых досках самокат скользил как по льду. Нас развернуло, и мы ударились о борт телеги боком — без особого грохота, зато с полным позором. Гришка нырнул под телегу раньше, чем я успел подняться.

— Эвона как, — сказал сверху толстый человек.

Я сел прямо на мостки. Толстый человек смотрел не на меня, а на самокат — с тем же восторгом, с каким Снежана разглядывала скидку в семьдесят процентов.

— Ипат, — сказал он худому. — Ипат, гляди.

— Чего? — сказал худой.

— Гляди, говорю!

— Не слышу, Пантелей Фомич!

Толстый слез с телеги. Ростом он не вышел, зато шириной мог поспорить с самой телегой. Рыжеватая борода была аккуратно разделена надвое; маленькие глаза смотрели на самокат с таким интересом, что мне захотелось спрятать ценник. Он обошёл находку, присел и тронул колесо. То провернулось с тихим жужжанием. Толстый отдёрнул руку, выждал

и потрогал снова. Любопытство победило осторожность.

— Эвона как, — повторил он. — Сама бежит.

— Это самокат, — сказал я.

— Сам катит, — согласился толстый. — Видал я у немцев часы, что сами бьют. Видал соловья заводного у Чвакина, что сам свистит. А чтоб доска сама катила, такого не видал. Почём?

— Он не продаётся, — сказал я. — Он арендный.

— Чего?

— Он не мой. Я его на время взял. Его вернуть надо.

Толстый посмотрел на меня с уважением.

— Это правильно, — сказал он. — Чужое вертать надо. Чей?

— Компании.

— Какой кумпании? Немецкой? Аглицкой?

Я понял, что запутаюсь, и промолчал.

Со стороны торга нарастал шум. К воротам двигалась целая делегация: впереди — торговка пирогами, следом — сухонькая женщина с яйцами, замыкали шествие двое с бердышами. По картинкам я помнил: бердыш — это топор на длинном древке. Вживую он выглядел убедительнее любого предупреждения в банковском приложении.

Толстый заметил их и посмотрел на меня. В маленьких глазах мелькнуло знакомое выражение: так отец прикидывал, сколько можно выручить за подержанную машину. Только машиной на этот раз был я.

— А ты сам, малый, чей? — спросил он.

— Свой, — сказал я, забыв совет Гришки.

— Свой, — повторил толстый задумчиво. — Свой, значит. Ничей.

Мужики с бердышами подошли. Один, усатый, остановился передо мной и упёр бердыш древком в доски моста.

— Этот? — спросил он у тётки.

— Этот! — сказала тётка. — Воровскую денежку давал! На доске бесовской катался! Бляшку немецкую за пирог!

— Покажь денежку, — сказал усатый.

Я сунул руку в карман, но вытащить не успел. Толстый в красном кафтане шагнул вперёд и встал между мной и бердышом.

— Ты, служивый, не трожь, — сказал он важно. — Это мой человек.

Я открыл рот. Толстый наступил мне на ногу. Сильно.

— Твой? — переспросил усатый.

— Мой. Беглый. Мирошка. Из сельца моего Горелые Ложки, что по Коломенской дороге. В Петров пост сбежал, на Москве у немцев шатался, вишь, одёжу немецкую где-то добыл и доску бесовскую. Я его третий месяц ищу. Ипат! Ипат, скажи, наш?

— Да я и не шумел, — сказал Ипат.

— Наш, говорю, Мирошка?

Ипат посмотрел на меня долгим взглядом. Потом на толстого. Потом снова на меня.

— Наш, Пантелей Фомич, — сказал он. — Чей же ещё.

Я посмотрел на Ипата. Значит, со слухом у него всё было в порядке. Просто включался он по распоряжению хозяина.

— А ты кто сам будешь? — спросил усатый у толстого, уже другим тоном.

Толстый выпрямился и, кажется, стал даже ещё шире.

— Пантелей Фомич Дудыкин, — сказал он. — Дворянин московский. Вотчина у меня за Коломенским, сельцо Горелые Ложки, двенадцать дворов. Может, слыхал.

Усатый не слыхал, но кивнул. Видно было, что вязаться с дворянином из-за пирога ему совсем не хочется, тем более в Новый год.

— А денежка воровская? — спросила тётка.

— Какая денежка? — спросил Дудыкин. — Покажь.

Я вытащил из кармана десятку. Дудыкин взял её, повертел, посмотрел на орла, на цифру. Хмыкнул.

— Это не денежка, — сказал он. — Это бляха. Немецкая, с ошейника. У немцев псы с бляхами ходят. Он у пса снял, дурень. Беглый, что с него взять. Вот тебе, мать, за пирог.

Он достал из-за пояса маленький кожаный мешочек, порылся и выудил крошечную серебряную чешуйку, кривую, неровную, размером с ноготь на моём мизинце. Тётка взяла её, посмотрела и сразу подобрела.

— Серебром, — сказала она. — Серебром, батюшка, другое дело. Серебром пирог денга. А сдачи у меня нет.

— Сдачи не надо, — сказал Дудыкин великодушно. — Ты

ему пирог дай. Он, видать, голодный, раз у пса бляхи рвёт.

Тётка сунула мне горячий мясной пирог. Я взял его обеими руками и чуть не прослезился. Не от благодарности за угощение: меня, похоже, только что приобрели за серебряную чешуйку. Причём вместе с арендным самокатом. Вот это я понимал — пакетное предложение.

Мужики с бердышами ушли. Торговка спрятала серебро и вернулась к пирогам. Толпа расступилась: представление закончилось, билетов не продавали. Дудыкин повернулся ко мне.

— Ну, — сказал он, — Мирошка. Полезай в телегу. И доску свою клади. Домой поедем.

— Я не Мирошка, — сказал я. — И я не ваш. Я из Москвы.

— Все из Москвы, — сказал Дудыкин. — Я тоже из Москвы. Ты, малый, подумай. Вот тебе дорога, вот Москва. Ступай. Только тебя через час опять поймают. Денежки у тебя воровские, одёжа немецкая, говоришь ты чудно, крестишься, небось, не так. И доска бесовская. Тебя в Земский двор сведут, а там спросят, чей ты. А ты скажешь, свой. А своих, малый, не бывает. Своих к делу пристраивают. Сперва на дыбу, потом на правёж, потом в тюрьму, а потом, если выживешь, в Сибирь соболей ловить. Хочешь соболей?

Соболей я не хотел. Пирог обжигал пальцы, и пока это было единственное предложение, которое мне нравилось.

— А у вас? — спросил я.

— А у меня, — сказал Дудыкин, — у меня ты мой. У меня тебя никто не тронет. Работу дам. Изба есть пустая, после бобыля Кузьмы осталась. Оброк положу по силам. Барин я добрый, Ипат подтвердит.

— Добрый, — сказал Ипат, не моргнув.

— А потом? — спросил я.

— А потом видно будет, — сказал Дудыкин. — Ты, малый, не торгуйся. Я тебя с торга по дешёвке взял, за пирог. А мог бы и вовсе даром, за спасибо. Цени.

Я оглянулся. Гришка выглядывал из-под телеги и отчаянно махал руками. То ли советовал бежать, то ли соглашаться, то ли просил ещё хлеба. Я вспомнил бердыши и торговку, готовую рассказать обо мне каждому встречному. Всё моё имущество здесь сводилось к телефону с шестьюдесятью процентами заряда, восьмидесяти восьми рублям тридцати пяти копейкам, которые приняли за собачьи бляхи, и рюкзаку с возвратом для маркетплейса.

И самокат. Арендный.

— Ладно, — сказал я. — Поехали.

Мы с Ипатом подняли самокат в телегу. Я забрался следом. Дудыкин занял почти всю лавку, прижав меня к борту и к арендному транспорту. В приложении за такую поездку наверняка взяли бы доплату за повышенную тесноту.

— Ипат, трогай, — сказал Дудыкин.

— Сейчас, барин. Только мерин у нас не самокат: ему сперва подумать надобно, — отозвался Ипат.

Ипат щёлкнул вожжами. Мерин подумал ещё немного и тяжело тронулся.

Гришка выскочил из-под телеги и побежал рядом, держась за борт.

— Мирошка! — крикнул он. — Ты куда?

— В Горелые Ложки, — крикнул я. — Двенадцать дворов!

— Я тебя найду! — крикнул Гришка.

— Найди! — крикнул я. И, не знаю почему, крикнул ещё: — Хлеб береги!

Гришка отстал у моста. Стоял на краю, тощий, с животом, раздутым от бородинского хлеба, и махал рукой. Потом между нами вклинилась телега с капустой.

Мы ехали через Москву. Я сидел на телеге, доедал пирог и вертел головой. Дома теснились деревянные, крыши нависали над улицей; каменными были разве что стены да церкви с золотыми и зелёными главами. Колокола звонили наперебой — всё-таки Новый год. Над рекой скрипели мельницы, между лодками сновали перевозчики. От дыма, сырости и свежего хлеба пахло так густо, будто город решил встретить меня сразу всеми запахами.

— Москва, — сказал Дудыкин, проследив мой взгляд. — Красавица. Только дорога. Ты знаешь, почём нынче на Москве часы немецкие, что сами бьют?

— Нет.

— Сорок рублей. Серебром. А медью полторы сотни. Это

где ж видано? Я за ними ехал. Думал, привезу Чвакину нос утереть. Ан нет. Обратно еду пустой.

Он покосился на самокат и погладил его по рулю. Самокат мигнул экранчиком: «Поездка продолжается. 34:08».

— Не пустой, — сказал Дудыкин и довольно хмыкнул. — Эвона как. Не пустой. В Новый год диковину раздобыл — весь год прибыль будет. Примета добрая.

Я взглянул на экранчик: тридцать четыре минуты. Восемьсот бонусов оставались на счёте, если приложение ещё помнило, что такое бонусы. Связи не было, дорога вела на три с половиной столетия в прошлое, а аренда продолжала тикать. Кажется, я установил рекорд по удалённости от зоны обслуживания.

# Глава 3. Оброк на гаджеты

Горелые Ложки оказались не такими горелыми, как я боялся, и совсем не похожими на ложки. Деревня стояла на высоком берегу реки: двенадцать изб, церковь, мельница на ручье и барский двор за высоким забором. Кур было столько, что я заподозрил здесь птицеводческий холдинг. Без вывески и налоговой отчётности.

Самокат всю дорогу лежал под рогожей. В какой-то момент экранчик ещё мигнул надписью «Поездка продолжается», а потом погас окончательно. Дудыкин, заметив это, встревожился.

— Помер? — спросил он.

— Уснул, — сказал я. — Устал.

— Эвона как, — сказал Дудыкин с уважением. — Как живой.

Барский двор был обнесён частоколом, внутри стояли большой дом на высоком подклете, амбары, конюшня, баня и колодец с журавлём. На крыльце нас ждала женщина. Невысокая, плотная, в тёмном платке, с руками, сложенными на животе. Она стояла так, что было ясно: это её крыльцо, её дом, её двор и, возможно, её муж.

— Пантелей Фомич, — сказала она, когда телега остановилась. — Где часы?

— Дороги, Агриппинушка. Сорок рублей серебром.

— Слава богу, — сказала она. — А это что?

Это был я. Сидел в телеге рядом с самокатом и чувствовал себя посылкой, которую привезли не по адресу, но возвращать отправителю уже поздно.

— Это, — сказал Дудыкин торжественно, — беглый наш. Мирошка.

— Какой Мирошка? У нас Мирошки не было.

— Теперь есть.

Агриппина Никитична спустилась с крыльца и оглядела меня с головы до ног. Снежана так изучала покупки в интернете: сначала оценивала внешний вид, потом искала недостатки и только после этого интересовалась ценой.

— Купил? — спросила она мужа.

— За пирог, — сказал Дудыкин гордо.

— Пирог почём?

— Денга.

— Серебром?

— Серебром.

Агриппина Никитична загнула палец. Позже я узнал: считала она всегда на пальцах, и итог неизменно оказывался не в пользу мужа.

— Пирог денга, — сказала она, — а кормить его зиму сколько? Хлеба три четверти, крупы, соли, щей, кваса. Одёжи на нём нет никакой, одно немецкое баловство. Сапоги на нём, гляди, к Покрову развалятся. Изба ему нужна, дрова нужны. Ты, Пантелей Фомич, не беглого купил, ты убыток

купил.

Мне стало обидно. Убытком меня ещё никто не называл. Дома предпочитали слово «инвестиция», хотя дивидендов тоже не дождались.

— А это, — сказал Дудыкин и откинул рогожу с самоката.

Агриппина Никитична посмотрела на самокат. Долго. Потом на меня. Потом снова на самокат.

— Это что?

— Доска самокатная. Сама катит. Без лошади. Чвакин такого во сне не видал.

— А есть она что хочет?

Я хотел сказать, что электричество, но понял, что это ничего не объяснит.

— Внутри сила запасена, — сказал я. — Пока не кончится, едет.

В сущности, я не соврал. Аккумулятор почти сел. В рюкзаке лежал пауэрбанк с солнечной панелью, но для самоката он был всё равно что свечка для паровоза. Розеток в здешних избах я пока не заметил — и вряд ли стоило спрашивать.

— Значит, овса не просит, — заключила она. — Это хорошо. Ладно. Заходите. Ужинать будем, потом поглядим, что у него ещё есть.

Ужинали в большой горнице с низким потолком, печью, иконами в углу и длинным столом. За столом разместились барин, барыня, Ипат, две служанки, конюх, незнакомый старик и я — с самого краю, у двери. Щи подали в общей миске.

Все черпали своими деревянными ложками, а я пытался вычислить безопасный участок поверхности. Такой санитарной задачи мне не задавали даже на школьной олимпиаде.

После ужина Агриппина Никитична велела позвать дьячка.

Дьячок пришёл через полчаса. Он был молодой, лет тридцати, весёлый, с жидкой бородкой и с чернильным пятном на носу, которое, судя по всему, жило там постоянно. Под мышкой у него была толстая тетрадь, а за ухом гусиное перо.

— Нифонт, — сказал Дудыкин. — Пиши роспись.

— Чему роспись, Пантелей Фомич?

— Диковинам. Вот у него в мешке.

Рюкзак лежал посреди стола. Все глядели на него, будто внутри прятался небольшой разбойничий отряд. Я же узнал привычную процедуру досмотра багажа — только без рамки металлоискателя и права пожаловаться начальству.

— Открывай, — сказал Дудыкин.

Я открыл. Первым делом я вытащил контейнер со Снежаниными бутербродами. Они немного помялись, но были целы. Контейнер был прозрачный, пластиковый, с синей крышкой на защёлках.

— Стекло, — сказала служанка у печи и ахнула.

— Мягкое, — сказала вторая и потрогала.

— Это пластик, — сказал я.

Нифонт обмакнул перо в чернильницу.

— Как пишется? — спросил он.

— Пластик.

Нифонт записал. Я заглянул ему через плечо: «Сосуд стекла мягкого немецкого, сиречь пластикъ, с крышкою синею, а в нём хлеб с сыром и огурцом». Огурец он вывел особенно старательно. Видимо, для будущих историков.

— Себестоимость сорок три рубля, — сказал я, сам не знаю зачем.

Нифонт поднял на меня глаза.

— Сорок три рубля? Хлеб с огурцом?

— Ну, не здешних рублей.

— Эвона как, — сказал Дудыкин. — Дорогой огурец у немцев.

Бутерброды отдали служанкам. Те разделили их на шесть частей. Один огурец на шестерых — даже в моём времени такая задача вызвала бы спор. Затем взялись за остальные вещи.

Солнечные очки. Я их надел, чтобы показать, и Дудыкин отшатнулся, потому что, по его словам, у меня «очи почернели, как у беса». Потом надел сам, долго смотрел на свечу и сказал, что так свечу видно лучше, она становится не такая злая. Нифонт записал: «Очки чёрные, для погляду на свечу».

Бальзам для губ. Его понюхали все, включая конюха, и единодушно решили, что это мазь от лихоманки. Агриппина Никитична намазала им себе руки. Нифонт записал: «Мазь в трубочке, пахнет вишнею, от лихоманки».

Наушники. Я открыл футлярчик, достал два белых комоч-

ка и не знал, как их объяснить. Тогда я, рискуя зарядом, достал телефон, включил на нём Bluetooth, не выходя из режима полёта, подключил наушники и вставил один Дудыкину в ухо. В телефоне у меня была одна песня, скачанная заранее: я слушал её в метро, когда пропадала сеть. Она была быстрая, весёлая и, как я потом понял, совсем неподходящая для семнадцатого века. Я нажал на кнопку.

Дудыкин замер. Лицо у него стало таким, будто ему в ухо влетела птица и запела там на трёх языках сразу. Он сидел неподвижно секунд двадцать. Потом поднял палец.

— Агриппинушка, — сказал он шёпотом. — Там гусли. И бубен. И девка поёт. В ухе.

— Какая девка?

— Махонькая. С ноготь. Не по-нашему поёт.

Агриппина Никитична посмотрела на меня так, что я сразу выключил песню.

— Это запись, — объяснил я. — Песню однажды спели, а устройство её запомнило. Теперь может повторять сколько угодно.

— А девку куда положили?

— Девка у себя дома. Она живая. Это только голос.

Нифонт записал: «Серьги белые слуховые, а в них девка поёт, сиречь запись, а сама девка дома». Спорить я не стал. Для человека, который впервые увидел наушники, он удивительно точно уловил суть.

Потом я вскрыл коробку. Снежана упаковала её основа-

тельно: три слоя скотча, пупырчатая плёнка, картонные перегородки. Конюх выпросил кусочек плёнки и до конца вечера сидел в углу, тихо щёлкая пузырьками. Я его понимал: в детстве занимался тем же.

Из коробки вышли: гирлянда на батарейках, светодиодная, на двадцать лампочек. Проектор звёздного неба, круглый, как шар, с дырочками. Электрическая зубная щётка в футляре. Ручной вентилятор, розовый, с ушками, как у котика. Калькулятор на солнечной батарейке, голубой. И упаковка батареек: шестнадцать штук, пальчиковых.

Я вставил батарейки в гирлянду и щёлкнул кнопкой.

В горнице стало тихо, как в церкви. Двадцать маленьких огоньков, синих, красных, зелёных и жёлтых, зажглись у меня в руках и замигали, и отразились в окне, в медном тазу на лавке, в глазах у всех. Одна из служанок села на пол. Ипат, который весь вечер делал вид, что ничего не слышит и ничего не видит, вдруг подошёл совсем близко и протянул палец к огонькам, но не тронул.

— Холодные, — сказал я. — Можно трогать.

Ипат осторожно коснулся лампочки. Она не обжигала. Он вдруг заплакал, быстро смахнул слёзы рукавом и отвернулся.

— Как у Христа за пазухой, — сказал он непонятно.

Снежана говорила, что гирлянда моргает не в том ритме. Я тогда решил, что она придирается. Теперь я видел, что гирлянда моргает ровно в том ритме, в котором надо. Просто для другой публики.

Проектор звёздного неба я включать не стал, решил оставить на потом. Зубную щётку показал. Она зажужжала в руке, и Дудыкин спросил, не родня ли она доске самокатной. Я сказал, что дальняя. Вентилятор подул Агриппине Никитичне в лицо, и она впервые за вечер улыбнулась. Калькулятор я показал последним. Нажал «два плюс два», и он показал «4». Нифонт уронил перо.

— Он считает? — спросил Нифонт.

— Считает.

— Сам?

— Сам. От света работает. Днём на подоконник положишь — считает. А при свечах может и погаснуть, если света мало.

Нифонт взял калькулятор двумя руками, как берут младенца. Нажал «семь», «плюс», «пять». Калькулятор показал «12». Нифонт посчитал на пальцах, медленно. Сошлось.

— Агриппина Никитична, — сказал он дрожащим голосом. — Этот ящичек считает лучше вас.

Агриппина Никитична посмотрела на калькулятор. Протянула руку. Нифонт отдал. Она набрала «40», нажала «умножить», набрала «12» и нажала «равно». Калькулятор показал «480». Она загнула пальцы, разогнула, загнула снова, потом что-то пробормотала, и лицо у неё сделалось задумчивым.

— Сорок рублей двенадцать раз, — сказала она. — Четыреста восемьдесят. Это ежели часы немецкие каждый месяц

покупать. Верно считает, шельма.

Я посмотрел на калькулятор в руках Агриппины Никитичны. Пока остальные любовались огоньками, она уже прикидывала расходы. Вот кто действительно оценил подарок из будущего.

Наконец всё лежало на столе. Дудыкин ходил вокруг стола кругами, как кот вокруг сметаны, и потирал руки. Потом остановился.

— Ну, — сказал он. — Всё моё.

— Не ваше, — сказал я. — Это возврат.

— Чего?

— Возврат. Это всё надо вернуть. Это моя мачеха заказала, а оно ей не подошло, и я должен был отнести в пункт выдачи. Там штрихкод. Вот.

Я показал штрихкод на коробке. Все посмотрели на штрихкод. Нифонт попытался его прочитать, сказал, что это, видимо, по-гречески, но очень плохим почерком.

— Мачеха, — сказал Дудыкин с сочувствием. — Злая?

— Нет, — сказал я и сам удивился. — Не злая. Экономная.

— Это хуже, — сказала Агриппина Никитична, и я так и не понял, шутит она или нет.

— Всё одно моё, — отрезал Дудыкин. — Ты беглый, а беглому с добром своим не распоряжаться. Стало быть, всё, что привёз, под моей рукой.

Я не знал, что именно говорилось в Соборном уложении о

вещах беглого человека. Зато прекрасно понимал: спорить с барином, у которого были конюхи, телега и право отправить меня куда угодно, — затея с сомнительными перспективами.

— Погоди, Пантелей Фомич, — сказала вдруг Агриппина Никитична. Она так и держала калькулятор в руках, и мне показалось, что этот голубой ящичек что-то в ней переключил. — Ты всё сразу возьмёшь. Ладно. Покажешь Чвакину. Ладно. Он позеленеет. А дальше что?

— Как что? — растерялся Дудыкин.

— А дальше Чвакин себе купит. Персидского попугая второго. Или часы немецкие. Он богаче. И ты опять будешь сидеть и злиться. А диковин у тебя больше не будет, потому что все уже показаны.

Дудыкин задумался. Борода у него шевелилась, словно тоже пыталась разобраться в предложении.

— А ты бери по одной, — сказала Агриппина Никитична. — По диковине в месяц. Каждый месяц новая диковина. Чтобы Чвакин весь год зеленел. А мужик пусть пока у себя держит, у него сохраннее, он знает, как с ними обходиться. Сломаешь ведь, Пантелей Фомич. Ты и часы с кукушкой у брата сломал.

— Кукушка сама вылетела, — обиженно сказал Дудыкин.

— Ты её за хвост тянул.

Дудыкин засопел, поглядел на гирлянду и довольно прищурился. Я понял: каждый месяц новая диковина, каждый месяц Чвакин лопается от зависти. Подписка на чудеса.

Правда, кнопки «Отменить» здесь не предусматривалось.

— Ладно, — сказал он. — Быть по сему. Нифонт, пиши. Беглому Мирошке оброк. Каждый месяц по диковине, на мой выбор. Доску самокатную беру сразу, за сентябрь.

— А когда диковины кончатся? — спросил Нифонт, обмакнув перо.

Все посмотрели на меня. Я пересчитал вещи, которые барин согласился принимать вместо оброка: самокат, гирлянду, проектор, щётку, вентилятор, калькулятор, наушники, очки, бальзам, пауэрбанк и часы. Всего одиннадцать, включая уже забранный самокат. Телефон я не отдал бы никому, даже за весь Пирожный ряд.

— На одиннадцать месяцев хватит, вместе с нынешним сентябрём, — сказал я. — Если ничего не сломается.

— А потом деньгами, — сказала Агриппина Никитична. — Пять рублей. Серебром.

— Пять рублей в год? — уточнил Нифонт.

— В год.

Нифонт присвистнул. Конюх перестал щёлкать пупырками. Даже Ипат поднял брови. Я ещё не представлял, сколько можно купить на пять серебряных рублей и как долго здешнему человеку пришлось бы их зарабатывать. Но по лицам присутствующих понял: цена серьёзная. И сделал то, что делал всегда, когда мне называли цену.

— А скидка будет? — спросил я.

В горнице наступила тишина. Агриппина Никитична по-

смотрела на меня с интересом, впервые за вечер не как на убыток.

— Чего? — спросил Дудыкин.

— Если вперёд заплачу, уступите? Постоянным покупателям обычно скидку дают. Или можно частями: пять рублей за год, без переплаты. Где у вас кредитный отдел?

Нифонт записывал незнакомые слова, но на «кредитном отделе» остановился. Поднял перо и посмотрел на хозяйку: не то пропустил важный чин, не то перед ним новый приказ.

Агриппина Никитична вдруг засмеялась. Негромко, но так неожиданно, что Нифонт оторвал перо от бумаги.

— Ох, Пантелей Фомич, — сказала она. — Ох, ты и купил. Он не беглый. Он торговый. Он с тобой торгуется, а у самого за душой ни полушки. Ладно, малый. Скидку тебе: четыре рубля с полтиной, ежели к Покрову будущего года вперёд всё отдашь. А нет, так пять. Рассрочку бери какую хочешь, мне всё одно, лишь бы к сроку. Нифонт, так и пиши.

Нифонт так и написал. Потом подул на бумагу, посыпал песком и с поклоном подал её Дудыкину. Тот, не глядя, поставил внизу какую-то закорючку. Потом Нифонт подал бумагу мне.

— Руку приложи, — сказал он.

Я посмотрел на бумагу. «Роспись диковинам беглого Мирошки Голована, а в ней…», дальше шёл перечень вещей, а внизу: «А оброку ему, Мирошке, платить на всякий месяц по диковине, на барский выбор, а как диковины изойдут, пла-

тить пять рублёв серебром на год, а ежели вперёд к Покрову будущего года, то четыре с полтиною. А за сентябрь взята доска самокатная, сама катит, покуда сила в ней есть». Про аккумулятор Нифонт, к счастью, не спросил.

Я взял перо и расписался привычным росчерком, с длинной закорючкой в конце. Нифонт склонился над листом так низко, будто пытался разобрать иноземную грамоту.

— Это по-каковски?

— По-моему, — сказал я.

— Голован, — сказал Нифонт и почему-то засмеялся. — Ну, Голован.

Так я получил прозвище и подписал первый в жизни договор, который действительно прочитал от начала до конца. Жаль, что в нём не было пункта о расторжении.

Ночевать меня отвели в пустую избу на краю деревни. Изба осталась после бобыля Кузьмы, который, как мне сказали, ушёл весной на богомолье и не вернулся. Она была маленькая, низкая, с одним окошком, затянутым чем-то мутным, с печью, которая занимала половину избы, и с лавкой вдоль стены. Ипат принёс мне охапку соломы, старый тулуп, кусок хлеба и горшок с кашей, поставил всё на лавку и ушёл, ничего не сказав.

Я остался один. Было темно. Было холодно, потому что сентябрь ночью в семнадцатом веке оказался гораздо злее, чем в двадцать первом. Я попробовал растопить печь. У меня не было спичек, не было зажигалки, не было ничего, кро-

ме телефона. Я нашёл в углу какие-то щепки, сложил их в печи и долго смотрел на них, как будто от взгляда они могли загореться. Потом включил на телефоне фонарик и посмотрел на них ещё раз, уже при свете. Щепки не загорелись. Тридцать девять процентов.

Я выключил фонарик, завернулся в тулуп, лёг на солому и съел кашу руками: ложки не было. Каша оказалась холодной, но вкусной. В темноте я думал, что нормальному человеку полагается испугаться, когда он проваливается на триста шестьдесят пять лет назад. Но сил на страх не осталось. Я поставил этому дню три звезды из пяти. Одну снял за папу с картой, одну за бердыши. Три оставил за пирог, гирлянду и за то, как Ипат плакал над огоньками.

Разбудило меня жужжание.

Сначала я решил, что это зубная щётка включилась в рюкзаке. Потом решил, что это телефон. Потом открыл глаза и увидел пчелу. Она сидела у меня на носу и умывалась передними лапками. Вторая сидела на щеке. Третья на руке. А под потолком, в углу, над печью, висело что-то тёмное, живое, шевелящееся и гудящее, размером с хороший арбуз.

Я заорал. Пчела на носу обиделась и ужалила меня в нос. Я вскочил, ударился головой о полати, сел обратно, и в этот момент дверь избы распахнулась, и вошла девушка.

Она была высокая, загорелая, в простой холщовой рубахе и тёмной понёве, с толстой русой косой до пояса, и босая, хотя по полу тянуло холодом. В руках у неё был деревянный

короб и какой-то веник из травы. Она посмотрела на гудящий шар под потолком, потом на меня, потом на мой нос, который на глазах становился похожим на картошку.

И засмеялась. Громко, на всю избу, так, что пчёлы под потолком загудели в ответ.

— Ты кто такой? — спросила она сквозь смех.

— Мирошка, — сказал я гнусаво. — Беглый. Барский.

— А, — сказала она. — Голован. Мне Нифонт сказывал. Сиди, не маши руками, а то совсем закусают. Рой у меня вчера с пасеки сорвался. Осенью-то! Видно, в тепле под крышей пристанище нашёл, а ты к нему в гости залез.

— Это они ко мне залезли!

— Изба пустая, тёплая, — сказала она. — Они раньше тебя пришли. Ты к ним подселился.

Она подошла к печи, встала на лавку, подставила короб под пчелиный клубок и тихо, ласково заговорила. Не с пчёлами — скорее, успокаивала себя. Потом взмахнула веником, раз, другой, и пчёлы, тяжело гудя, сползли в короб, словно только этого и ждали. Она прикрыла короб холстиной, спрыгнула с лавки и лишь тогда снова посмотрела на мой нос.

— Пойдём, — сказала она. — Подорожник приложу.

Её звали Поля. Пелагея Ерофеевна Кадушкина, дочь мельника, восемнадцать лет, пасечница. Это всё она рассказала мне, пока мы сидели у её избы на завалинке и она прикладывала к моему носу размятый лист подорожника. Лист

пах травой, а от Поли — мёдом и дымком. У меня было ощущение, что я сижу внутри какого-то очень старого фильма, где всё по-настоящему.

— А чего ты в немецком? — спросила Поля, разглядывая мою худи. — Тут написано чего?

— «Нет стресса, только вайб», — перевёл я.

— Чего?

— Ну, это значит… Не волнуйся, живи в своё удовольствие.

Поля посмотрела на мой нос.

— Не похоже, — сказала она и снова засмеялась.

В этот момент из-за угла избы вышла собака. Рыжая, лохматая, неопределённой породы, с одним висячим ухом и одним торчащим. Она подошла прямо ко мне, обнюхала мои кроссовки, потом залезла носом в открытый рюкзак, который я притащил с собой, вытащила оттуда пустой контейнер из-под бутербродов и потрусила с ним прочь.

— Эй! — сказал я. — Это пластик!

Собака остановилась, посмотрела на меня через плечо и потрусила дальше. Я вскочил и побежал за ней. Собака свернула за угол. Я свернул за ней. Собаки не было. Я вернулся к Поле, сел на завалинку, и не успел я перевести дыхание, как собака вышла из-за другого угла, подошла и положила контейнер мне на кроссовку. Пустой, вылизанный дочиста.

Поля смотрела на это и улыбалась.

— Это ничья собака, — сказала она. — Она всё уносит.

А потом приносит обратно. Всегда.

— Кешбэк, — сказал я.

— Чего?

— Её зовут Кешбэк, — сказал я. — Это когда у тебя что-то забирают, а потом немножко возвращают. Только она возвращает целиком. Значит, хорошая собака.

Кешбэк лёг у моих ног и положил голову мне на кроссовку. Поля повторила «кешбэк» два раза, пробуя слово на вкус, и пожала плечами.

— Чудной ты, Голован, — сказала она. — Барину оброк, слышала, диковинами платишь?

— Ага.

— А как кончатся?

— Пять рублей серебром.

Поля перестала улыбаться и посмотрела на меня с таким сочувствием, словно я уже задолжал половине деревни.

— Ох, Голован, — сказала она. — Где ж ты их возьмёшь-то?

Я посмотрел на свой нос в отражении ведра с водой. На кроссовки. На рюкзак с возвратом. На Кешбэка, который спал у меня на ноге.

— Заработаю, — сказал я.

Я произнёс это уверенно, хотя за девятнадцать лет ни разу не заработал ни копейки. Зато обещание прозвучало солидно. Пять звёзд за подачу.

# Глава 4. Натуральное хозяйство

На Таганке, в «Меркурии», нам объясняли натуральное хозяйство: люди многое делают сами и мало покупают. Я записал в телефон «натуральное хоз-во = всё сами», нарисовал смайлик с вилами и забыл. В Горелых Ложках вилы пришлось взять настоящие.

За каждым куском хлеба здесь стояла целая деревня. Рожь надо было посеять, сжать, обмолотить, смолоть, а уж потом замесить тесто и растопить печь. Из льна шили рубахи, из лыка плели лапти. Дома строили, печи клали, дрова кололи своими руками. Когда кончались свечи, зажигали лучину. Соль покупали на торгу и берегли, как я прежде берёг последний процент зарядки.

Денег в деревне почти не водилось. Я понял это, когда принялся спрашивать цену то одного, то другого. На меня смотрели так, будто я интересовался стоимостью дождя. Наконец Нифонт пожалел меня и объяснил:

— Денежки, Голован, у нас на торг да на подать, — сказал он. — А промеж себя меняются. Ты мне яиц, я тебе соли. Ты мне холста, я тебе дёгтю. Ты мне лапти сплёл, я тебе крышу поправил.

— А если мне нужны лапти, а у меня ничего нет?

— Тогда, — сказал Нифонт, — сплети сам.

Я попробовал. Три дня мучил Ерофеево лыко и в конце

концов сплёл нечто среднее между корзиной и ловушкой для ноги. Пятка внутрь не проходила. Ерофей долго вертел изделие, проверил плетение пальцем и вынес приговор:

— Не тот лапоть, что сплетён, а тот, что не развалился.

Я не понял, что это значит. Позже выяснилось: Ерофей говорил почти одними пословицами. Только каждую переделывал на свой лад. То ли запоминал неправильно, то ли считал, что народная мудрость без его участия недостаточно мудра.

Ерофей Кадушкин, отец Поли, был мельником. Маленький, жилистый, весь серый от мучной пыли, с бородой клинышком и с такими быстрыми глазами, что казалось, он всё время что-то подсчитывает. Он был вдовец уже лет десять, жил с Полей в избе у мельницы, держал пасеку, корову, двух поросят и ещё, по его собственным словам, «уважение всей округи». Уважение, правда, было не всегда уважением. Иногда это было просто желание с Ерофеем не спорить. Потому что Ерофей спорил на всё.

— Спорим, — сказал он мне в первый же день, — что ты мешок не подымешь.

— Какой мешок?

— Вон тот. С рожью.

У мельничных дверей лежал холщовый мешок, туго перетянутый верёвкой. Я ухватил его за горловину, потянул. Ничего. Упёрся ногой в косяк и рванул сильнее. Мешок остался на месте; косяк жалобно скрипнул. Ерофей смотрел с удо-

вольствием: исход опыта ему был известен.

— Сколько в нём? — спросил я, отдуваясь.

— Пять пудов, — сказал Ерофей довольно. — Проспорил. С тебя полдня на мельнице.

— Я же не спорил!

— А я спорил, — сказал Ерофей. — Не спорь с тем, кто спорит. Это ещё отец мой говорил.

Пять пудов — почти восемьдесят два килограмма, как я потом выяснил с помощью калькулятора. Я в спортзале на Котельнической жал шестьдесят, и то с тренером, который придерживал гриф и говорил «давай-давай-давай». Здесь мешки носили на спине: Ерофей, который был ниже меня на голову, и Поля, которая казалась вдвое тоньше. Даже двенадцатилетний соседский Савка ловко управлялся с мешками поменьше.

Я полдня таскал мешки. То есть пытался. Мне давали мешки поменьше, в два пуда, и я носил их от телеги до ларя, спотыкаясь и ругаясь словами, которые Нифонт потом старательно записывал в тетрадь, не зная, что это ругательства. К вечеру у меня болело всё, о существовании чего я раньше и не догадывался. Спина, плечи, ноги, руки и почему-то уши. Часы на руке показали двенадцать тысяч шагов, пульс сто двадцать и отправили мне поздравление: «Отличная тренировка! Вы сожгли 1840 калорий». Я посмотрел на часы с ненавистью. За эти калории мне никто не дал даже кешбэка.

Вечером Поля дала мне кружку молока и кусок хлеба.

Хлеб был тёплый, ржаной, тяжёлый, с хрустящей коркой. Я сидел на мельничном пороге, жевал и вдруг понял, что знаю, сколько он стоит.

Он стоил весны, когда эту рожь сеяли. Лета, когда её пололи. Августа, когда её жали серпами, согнувшись, от рассвета до темноты. Сентября, когда её молотили цепами на току, и я это видел, и даже один раз попробовал, и цеп ударил меня по затылку. Он стоил мешков, которые я сегодня таскал. Жерновов, которые крутила вода, и воды, которую держала плотина, и плотины, которую каждую весну чинил Ерофей. Он стоил Полиных рук, которые месили тесто в квашне, и печи, которую она топила с утра. Он стоил дров, которые кто-то рубил. Он стоил всего этого, и ещё соли.

Папа ждал от меня простой цифры: пятьдесят девять рублей за буханку. Раньше я назвал бы её не задумываясь. Теперь, сидя на мельничном пороге с больной спиной и тёплым хлебом в руках, я впервые понял, сколько труда прячется за ценником.

— Поль, — сказал я. — А сколько стоит хлеб?

Поля посмотрела на меня удивлённо.

— Какой хлеб? Этот?

— Ну да.

— Нисколько, — сказала Поля. — Он же наш.

Это было самое экономическое, что я слышал за всю свою жизнь. И Лев Аронович, по-моему, со мной бы согласился.

В субботу Ерофей позвал меня в баню.

— Спорим, — сказал он, — что ты в нашей бане до второго пару не досидишь?

Я засмеялся. Два раза в месяц я ходил в спа на Котельнической. Там были сауна, хамам и ледяная купель. Девушка на ресепшене неизменно спрашивала, какое полотенце я предпочитаю — бамбуковое или хлопковое. Я всегда брал хлопковое: бамбуковое казалось подозрительно дорогим.

Ерофеева баня стояла у ручья и топилась по-чёрному. Трубы не было: дым сначала заполнял помещение, а потом выходил через дверь и крошечное окно. К моему приходу дым уже выпустили, но стены и потолок оставались чёрными от копоти. Я заглянул внутрь и вспомнил коптильню, где отец однажды покупал рыбу. Рыбе, пожалуй, было уютнее.

— А где полотенца? — спросил я.

— Чего? — спросил Ерофей. Он уже сидел на полке, голый, жилистый, серый от мучной пыли даже здесь, и держал в руке веник.

— Ну, чем вытираться.

— Рубахой вытрешься, — сказал Ерофей и плеснул на камни ковш воды.

Камни зашипели. Горячий воздух ударил мне в лицо, будто кто-то распахнул духовку. Я сел пониже. Ерофей плеснул ещё ковш — и я сполз почти на пол. Он объявил, что это всего лишь первый пар, для разогрева, взял веник и принялся охаживать себя по спине, плечам и ногам. Потом спустился ко мне. Я успел спросить, обязательно ли участвовать в про-

грамме, прежде чем веник хлопнул меня между лопаток.

— Это не хамам! — орал я. — В хамаме так не делают!

— Не знаю, кто такой Хамам, — сказал Ерофей, хлеща меня по спине. — А у нас так делают.

Второго пару я не досидел. Вылетел из бани, пробежал по траве и прыгнул в ручей. Октябрьская вода обожгла холодом. Я вынырнул, заорал снова и увидел на берегу Кешбэка. Он держал в зубах мои джинсы и смотрел на меня с видом хозяина, который наконец-то получил залог.

— Кешбэк! — заорал я из ручья. — Верни!

Кешбэк не обернулся. Из окна мельницы выглянула Поля, увидела меня в ручье, Кешбэка с джинсами и Ерофея на пороге бани, красного, с веником, и захохотала так, что пчёлы в ульях, наверное, решили, что началась весна.

Джинсы Кешбэк вернул через полчаса. Мокрые, но целые. Положил на порог моей избы, аккуратно, как курьер оставляет посылку у двери.

— Проспорил, — сказал Ерофей вечером. — С тебя мешок дров.

— Ерофей Силыч, в спа хотя бы чай дают, — сказал я.

— Чай? — Ерофей задумался. — Это которую траву китайцы пьют? Дорого. Мы квасом обойдёмся. Квас свой.

Ерофей налил мне кружку кваса. Холодный и кислый, он оказался вкуснее любого чая из моего московского спа. Мысленно я поставил бане четыре звезды: одну снял за веник. Впрочем, дома за подобные впечатления пришлось бы ещё

и доплачивать.

Огонь я научился добывать только после пяти дней мучений с кресалом. До этого Поля каждое утро приносила мне угли в горшке, как курьер с доставкой к порогу. Смеялась надо мной, но приносила. На пятое утро объявила, что служба доставки закрывается: у неё пчёлы, корова и отец, а у меня, между прочим, две руки. И выдала кресало, кремень и трут.

Я сидел на полу у печи и бил кресалом по кремню два часа. Искры летели во все стороны, кроме трута. Одна прожгла мне джинсы, другая попала в Кешбэка, и Кешбэк ушёл, но через полчаса вернулся, как всегда. На втором часу у меня затекли руки, я начал разговаривать с кремнём вслух и называть его по имени, которое ему дал. Звали кремень Даниил. В честь продавца курсовых, который тоже обещал девяносто два процента результата.

На исходе второго часа трут затлел. Я раздул его, как показывала Поля, и подложил под бересту, а бересту под щепки, и щепки занялись, и в печи загудел огонь. Я сидел перед ним на коленях, весь в саже, и мне казалось, что я сделал что-то великое. Что-то, что сделали до меня миллионы людей, но я всё равно сделал это сам. Если бы у меня была сеть, я бы выложил это в сторис. Но сети не было, и это было даже лучше. Мне не нужен был ничей лайк. Огонь грел и так.

В тот же день я разобрался с пауэрбанком. Снежана подарила его мне со словами «для походов», и я тогда подумал, что это самый дурацкий подарок на свете. Теперь это был

самый дорогой подарок на свете. Он был размером с толстую книжку, с раскладной солнечной панелью на обороте. Я разложил панель на подоконнике, повернул к солнцу и стал ждать. Через полчаса на боку пауэрбанка загорелся один зелёный огонёк. К вечеру два. Я подключил к нему телефон и смотрел, как процент заряда растёт с тридцати девяти до сорока двух. Это были самые медленные и самые счастливые три процента в моей жизни.

Решил: телефон включаю раз в день, на пять минут, только чтобы посмотреть фотографии. Курсовую не трогаю. Звонить некому.

Фотографий у меня было много. Папа на открытии новой мойки, перерезает ленточку. Мама в Сочи, на коврике для йоги, на фоне моря. Снежана на кухне, считает на калькуляторе, пока я тайком снимаю её сзади, чтобы потом посмеяться. Теперь мне было не смешно. Я смотрел на неё и думал, что она, наверное, уже обзвонила все больницы. Папа, наверное, сначала злился, что я не пришёл ночевать. Потом перестал злиться.

Я выключил телефон быстро, пока не стало совсем плохо. Пять минут. Как договаривались.

Нифонт приходил ко мне каждый вечер. Он садился на лавку, клал на колени свою толстую тетрадь и спрашивал:

— Голован, а сегодня какое слово?

Слова он собирал, как другие собирают марки. Тетрадь у него была толстая, сшитая из разных листов, и в начале там

были молитвы, потом счёт церковного воска, потом какие-то записи о крестинах и похоронах, а с прошлой недели пошли мои слова. Он называл их «немецкими», хотя я сто раз говорил ему, что они не немецкие. Нифонт не спорил, но писал всё равно: «Немецкия словеса, от Голована слышаны». И дальше, столбиком, с толкованием:

«Кешбэк, сиречь возврат. Пёс у нас такой».

«Скидка, сиречь уступка в цене постоянному покупщику».

«Рассрочка, сиречь платить не разом, а частями, без лихвы».

«Вайб, сиречь дух. Добрый али худой».

«Кринж, сиречь срам. Когда барин в пляс пустится».

«Лайк, сиречь похвала. Ставят перстом».

«Пауэрбанк, сиречь солнечная кладовая. Ест солнце, а потом отдаёт его зерцалу».

«Курсовая, сиречь грамота учёная, которую Голован купил, а не читал, и о том кается».

Последнее он записал после того, как я однажды, в минуту слабости, рассказал ему про Даниила. Нифонт выслушал и долго качал головой.

— Грамоту купил, а сам не читал, — сказал он. — Это, Голован, как свечу купить и в тёмном углу держать. И не светит, и деньги ушли.

Я хотел было обидеться, но не смог. Он был прав.

В сентябре, ещё до истории с баней, в Горелых Ложках

принялись молоть новый урожай. Я тогда впервые увидел очередь без талончиков, терминала и таблички «Время ожидания — пятнадцать минут».

Мельница у Ерофея была одна на всю округу, вёрст на десять. Зерно везли из Горелых Ложек, соседних деревень, Чвакинской вотчины и с монастырских земель. Жернов был один, а воды в ручье осенью не хватало. Вдоль дороги вытянулись телеги — двадцать, тридцать, а то и сорок. Мужики сидели на мешках, курили, спорили, дремали у костров. Некоторые ждали третий день. Лошади жевали сено, дома оставалась работа, а очередь двигалась так медленно, словно жернов крутили по праздникам.

Я смотрел на телеги с пригорка и вспоминал, как записывался через приложение к стоматологу. Там хотя бы можно было выбрать время. Правда, стоматолог всё равно заставлял ждать, зато дома, а не рядом с лошадью.

— Ерофей Силыч, — сказал я. — А почему они тут сидят?

— Ждут, — сказал Ерофей.

— А почему не дома ждут?

— А как дома-то? Отойдёшь, а твоё место займут. Кто первый встал, того и жернов. Это ещё отец мой говорил.

— А если дать им бирку?

— Какую бирку?

Я предложил Ерофею сначала прикинуть, сколько мешков он может смолоть за день. Потом записать хозяев телег

по порядку и каждому выдать деревянную бирку: одна зарубка — приезжай сегодня, две — завтра, три — послезавтра. В назначенный день мужик показывает бирку и везёт зерно к жернову. Остальные едут домой, а не караулят место на дороге. Если кто не явится, можно взять следующего.

— Электронная очередь, — сказал я. — Только деревянная.

Ерофей долго смотрел на меня. Потом на телеги. Потом снова на меня.

— Спорим, — сказал он, — что не поедут?

— Спорим, — сказал я. Это был первый спор, на который я согласился сам. — На что?

— Ежели поедут, — сказал Ерофей, — дам тебе с каждого помола по горсти. Ежели не поедут, ты мне всю зиму дрова рубишь.

— Идёт.

Нифонт помог вырезать бирки и пошёл объяснять мужикам новый порядок. Те слушали подозрительно. Один заявил, что немецкие выдумки до добра не доводят; другой боялся потерять деревяшку. Третий похлопал по мешку: мол, моё место вот оно, подо мной, его не потеряешь. До вечера никто не уехал. Ерофей поглядывал на меня с таким удовольствием, будто уже выбирал поленницу, которую я буду рубить зимой.

Потом случилось вот что. Мужик из Чвакинской вотчины, Влас, уже третий день ждал помола. Дома у него жена

собиралась рожать, и он кричал об этом на всю дорогу. Влас взял бирку с четырьмя зарубками: приехать следовало через три дня, на четвёртый. Уехал он скорее от отчаяния, чем от доверия к моей затее. В назначенный день вернулся, показал бирку, смолол зерно за час и отправился домой с мукой. Заодно сообщил, что у него родился сын. Мужики на дороге сперва молчали. А наутро, когда Ерофей вышел раздавать бирки, к нему протянулись десятки рук.

Через неделю у мельницы не осталось ни одной телеги, приехавшей раньше срока. Мужики привозили зерно в назначенный день, мололи и отправлялись домой. Ерофей перестал разнимать споры о том, кто за кем стоял, и успевал больше. Вечером он пересчитывал плату за помол и улыбался так, словно нашёл лишний мешок муки, а хозяина у него не оказалось.

— Проспорил я, — сказал он мне наконец. — С каждого помола по горсти. Ерофей своё слово держит.

И правда держал. К Покрову у меня в избе стояли два мешка муки, которые я заработал сам. Не таскал, не пахал, не сеял. Просто придумал. Ещё Влас, тот самый, у которого родился сын, принёс мне курицу. Живую, рябую, с недовольным взглядом. Он сказал, что это от жены, за то, что он успел домой к родам. Я не знал, что делать с курицей. Я назвал её Подписка, потому что она каждый день приносила по яйцу и ничего за это не просила, кроме зерна.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.